**Михаил Гефтер.** Смерть-Гибель-Убийство. Серия «Весь Гефтер». Книга вторая. М.: Центр «УТОПОС», 2000.

Книга историка и философа — о смыслах, способах «работы» со смертью в истории больших длительностей и в индивидуальном бытии. Отношение к смерти, переоткрывающей жизнь, вводится в широкий контекст эволюции Гомо.

Что происходит, когда в естество неизбежного конца вклиниваются «гибель-убийство»? Как покушение на смерть режиссировало жизнями и судьбами нескольких отечественных поколений? Об этом, а также об условиях сохранения рода людского книга Гефтера, сочетающего философский и исторический взгляды на вечные, терзающие человека вопросы.,

Михаил Яковлевич Гефтер при жизни увидел изданной лишь одну свою книгу — «Из тех и этих лет» в 1990-м. А вот замыслы книг ненаписанных могли бы составить немалый том. Планы, тезисные разработки, прописи логик движения мысли — своего рода ноу-хау историка, философа, эссеиста. Особый, им изобретённый жанр. Планы, даже родственные, редко совпадали: в проговаривании сходного нет повторов, в возвращениях к близким ракурсам углы зрения, контексты непременно менялись. Рядом и вокруг несобранных книг свою особую жизнь вели сюжеты-пристрастия историка к фигурам и лицам, событиям, каким «пришлось случиться», либо «не пришлось» — застряли в развилках, продолжая странное подспудное существование в мечтах и идеях, а то и в трагических прерывах связи времён.

Даже пойманные в силки записей, мысли, по его же признаниям, «тяготели к незавершенности». За пределами формы-отливки скапливалось множество завораживающих «срезков», отсеченных по простой причине — утягивали в бесконечность. Оттого любимое — «мысли врозь» с нестесненностью импровизаций и открытостью неожиданным сопоставлениям. Знай только — подбрасывай «дровишки фактов», и дела дней минувших с естественностью включались в толкования перипетий происходившего в разные годы у нас и в мире.

Особый архивный пласт — разговоры Гефтера. Собеседники и в годы дефицитов раздобывали диктофоны, чтоб слушать и сохранять голос, манеру, строй речи.

В последнем — резон особый.

Гефтер текстов значительно отличался от Гефтера устного. С ним бились редакторы, усекая, «переписывая», втискивая в прокрустову «ясность» то, что называли «темными» местами. А он переживал, сопротивлялся, желая сохранить первородство внутренней речи. Но биться — дело утомительное. Не оттого ли так легко и просторно ему на страницах блокнотов, записей для себя… И еще — в разговорах, спонтанность которых не мешала выходить на то, что требовало домысливания и подпитки живым интересом собеседника.

Теперь все, что есть — ОН. Гефтер во всем — тайной прочтений пост-фактум никогда прежде не явленного, в нашем удивлении неожиданно открытым в нем — и в себе. Оставил не тексты даже, но карты блуждания пытливого духа по пространствам и весям былого и вероятного будущего прошлого. В блокнотах, пленках, клочках заметок «для себя», в бегло записанных словосочетаниях, в книгах (сплошь в закладках и с очерченными карандашом абзацами, строками) — инобытие ума, страстно вникавшего в суть механизмов истории или «добавок», что меняют пейзаж возможного режиссурой случайного.

У всякого, кто имел опыт встреч, был и останется свой Гефтер.

Публикация же предполагает отбор. Каким бы бережным он ни был — укор в импрессионизме нам заведомо обеспечен. Но не время споров. Мы стремимся вместить в книги серии как можно больше «разного» из того, что оставленно им.

Природа мысли Гефтера — в силу плотности и многотемья — не благоприятствует разграничениям и выборкам. И материалами этой книги далеко не исчерпывается многогранность видения автором одиссеи Смерти-Гибели-Убийства в эволюции Гомо. Представленное здесь будет, надеемся, взаимодействовать с текстами следующих книг, постепенно увеличивая концентрацию «целого». Тематические «кристаллы» обрастут новой плотью мыслей и вопросов.

Уверенный, что пути к лёгкому или полному взаимопониманию в областях духа и бытия нет, Михаил Яковлевич все же хранил надежду на возможность «совместности в непонимании». А как иначе брести путём не торным? Как иначе углубляться в проблемы, о которых люди задумываться станут лишь завтра — или никогда?

Если интонационный строй речи Гефтера, уникальный контрапункт его мысле-ритма адекватно не передать, то масштаб, страсть, настырность доискивания сути в попытках доработаться до вопроса здесь, на этих страницах.

Быть может, они укажут верный путь к Гефтеру, мыслителю ХХ столетия, влюблённому в век ХIХ, свободному жителю всех до- и исторических времён.

P.S. Непосредственным вводом в недоисчерпанную структурой и составом страшноватую по сути книгу, вероятно, могли бы стать строки-credo М.Я:

«Смерть — это не уход человека. Смерть приходит в жизнь испытанием на смысл, на осуществление того, чего нельзя не сделать и для чего надобно стать иным, чем ДО.»

Е.В.

[**Михаил Гефтер**](http://gefter.ru/archive/author/gefter)

**Смерть-Гибель-Убийство\***

**К зачину**

Можно допустить, что позыв п р е р в а т ь с я таится в роде ГОМО изначально.

Можно представить и весь путь человека как обуздание в себе убийцы, а стало быть, и как превозмогание в себе жертвы.

Можно, наконец, увидеть в ХХ-м веке, если не финальный «момент» этого противоборства, то преддверие КОНЦА, придающее пронзительную остроту проблеме фундаментально нового НАЧАЛА.

Не впервые так. Ведь и Гомер не столько начало, сколько Конец, сообщавший тем, кто после, о другом человеческом мире — мире, который очеловечивался поражениями.

Передача тайны — новшество, из которого вырастал Полис. И снова — Конец, передавший тайну Началу — конец Полиса, конец мифа, конец Рима. И НАРОД, блуждающий в буквальном и окольном смысле, из своего особого избранничества (возобновления из вторящейся, «перманентной» ПРЕДГИБЕЛИ), из диалога и договора с единственным Промыслителем, из этой замкнутой судьбы сотворивший проект человечества. Череда тайн, передача их, переиначивание, переначинание.

У следующих — отвержение и возобновление: эта «пара», эта «дополнительность» образуют ЦЕЛОЕ из несовместимого — Мир человека, больший по смыслу, чем доставшаяся Гомо планета (одна из…)

Образуют и продвигают к гибели, к обрыву… — и к ПОРОГУ.

Движение поражениями — движение ересями. Их ассимиляция — залог избирательной гибели.

А спустя столетия?

С зачина 90-х века двадцатого длилась и не иссякала перекличка с годами сороковыми, с 1945-м.

Еще раз (хорошо бы — окончательно) завершилась война в Европе? Или расползлась по окопам войны «холодной», по щелям региональных конфликтов, осеменив спорами трещины и изломы этно-разладов?

Пять с лишним кровавых лет и полстолетия вслед им — больше, чем ЭПОХА. Люди живут уже в другом Мире, однако в такой степени обременены наследием прошлого, что иной раз кажется: только вчера прогремел последний залп и когда еще будут подобающе захоронены останки последнего из погибших…

Глядя из девяностых в пороговые 1938–1945 (от Мюнхена и союза Гитлера со Сталиным до вердиктов Нюрнберга) — как не признать: мир изменился и люди перестали быть прежними. Два спутника эволюции «сапиенса» — убийство и абсурд — тогда заявились сызнова, сбросив маскировочные халаты новоевропейских опосредований. Вне зависимости от помыслов действующих лиц все они в конечном счете оказались втянутыми в одиссею п е р е о т к р ы т и я ж и з н и с м е р т ь ю.

Если же попытаться свести в формулу содержание той битвы, не забывая ее последствий, проникших в сознание и повседневность людей, где бы они ни жили, то, думаю, не ошибусь, сказав: этим суммарным итогом явилось спасение от страшной и дерзкой попытки спровоцировать род человеческий на САМОУНИЧТОЖЕНИЕ.

Тоталитаризм — синоним этой попытки которая, однако, не была первой.

Мне нет нужды доказывать, что, держась сказанного, я отнюдь не собираюсь наградить мистическим нимбом банальное злодейство. Но не хочу и упрощать. Ибо за упрощение плата не менее тяжкая, чем за уклончивость изысканной рефлексии.

Мы продолжаем спрашивать себя: кто загадочнее — Гитлер или Сталин, они оба, либо то человеческое множество, которое шло за ними, повинуясь им, и не только страха ради? На этот вопрос уже дано немало ответов, высказано много интересных суждений. Однако вопрос живет, пополняемый свежим опытом. Сегодня к нему взывает не одно лишь прошлое. И даже не только кровь настоящего. Вопрос жив н е о п р е д е л е н н о с т ь ю завтрашнего дня.

Мир выбирается, хотя еще и не освободился окончательно, из пут «холодной войны». А она, помимо прочего, выявила уязвимые места антинацистской Победы. Естественно, природа недовершенности «послевоенного устройства» была не та в 1945-м, что в 1919-м. Тем не менее я полагаю, что общность есть. Она — в атавизме средств, употребленных для осуществления цели, близкой к мечте (и идее) в е ч н о г о м и р а.

Историей доказано: любая геополитика ненадежна и раньше или позже взрывает даже благородные намерения. Выход же не в отмене границ, не в упразднении родословных, не в отчуждении суверенитетов. Выход, если он есть, — в том, чтобы совместными усилиями людей и народов одолеть роковую связку между комплексами «превосходства» и пароксизмами социального отчаяния, — связку, которая заново даст шанс импровизированным лидерам, готовым заместить пустоту альтернативы наготой насилия.

Континент, прошедший зловещий опыт 1930-х, как будто убережен от повтора. Но стоит ли предаваться иллюзиям, держа перед глазами скованную одной судьбой планету? В последнем счете все в человеческих делах упирается в неустранимый и возобновляемый вновь и вновь спор свободы и равенства, а также в спор между верховенством родового единства и приоритетом жизнетворящих различий. Пока есть место этому двухголовому спору, есть «почва и воздух» для спорящих.

Рвущееся к абсолюту равенство жаждет поприща размером в Мир. Не меньше! Ближе к человечеству-господству над всеми. И отбросом — в Дальше, в пропасть. Истина — она же мера обновленного неравенства. Уже не по достатку, не по сроку прожития, не по крови. А по несовпадению внутренней установки на содержание (протекание) жизни. По диапазону-разбросу планетарности в отдельном человеке и по сквозной связи между отдельными. Планетарные сообщества «интересов»? Достижимо?

Но противоположное — смертная развязка.

Я вынес эти бегло высказанные мысли в качестве урока из жизни своего поколения, следы которого на братских кладбищах Европы. Там, на них и у нас, — люди всех языков, вер, убеждений. И больше всего родом из Германии и еще больше — из отечественной Евразии.

Мертвые сближают живых, если живые не утратили дара общения с мертвыми, великого дара по имени ПАМЯТЬ. Никогда не лишнее, а сегодня нет ничего насущнее, чем защитить ее от откровенного забвения и от затаптывания спекуляциями любого цвета.

Ответ историка на этот зов времени — размышление, строгое исследование и открытость непознанному: вопросам и людям.

**ВЕКТОРЫ**

Три понятия —  
с м е р т ь,  
г и б е л ь,  
у б и й с т в о.  
Будто тождественны.  
Телесной развязкой — да.  
А переживанием, постижением,  
переводом в поступок?  
Смерть «попрать» можно лишь ею же —  
постигнутой, введенной в жизнь  
как ее условие.  
Гибель — погранична, предельна.  
Она — заострение «попрания», защита его  
от лицемерных игр,  
чернильных etc. уподоблений.  
От Пушкина к Пастернаку — гибель  
в «архетипе» русской культуры.  
И избегание ее также.  
Гибелью поправ убийство?  
У избегания свои полюсы  
мужества и трусости,  
эгоистичного привирания мотивов.

Откуда-как пришли Словом — смыслом  
смерть Жизнь  
рабство Свобода  
абсурд Истина

На исходе ХХ века не открытие: Вселенная конечна, не беспредельна жизнь, как и одно из ее порождений — вид Homo sapiens. Вопрос времени. Однако, что это в сравнении с «текущими» напастями, подстерегающими людей? Добившийся потрясающих успехов в продлении сроков индивидуального существования, человек достиг еще большего в досрочном пресечении жизни себе подобных.

Убийство вырвалось из зоны преступления, предъявляя заявку на Землю, — всю.

Правда, Нюрнберг не забыт. Кто ныне рискнет утверждать, что трупы на пользу, что этнические и им подобные чистки всего лишь проявление видовой гигиены, предохранительный клапан, уберегающий от сдвоенной экологической и демографической угрозы?

Но вровень ли нравственное табу и санкции международного сообщества, а ему дано пересилить кровавые схватки родословных?

Вид Homo действительно загнан в угол. В существенной, хотя не исчерпывающей мере, сам себя загнал. Пропускаю «промежуточные» соображения и предваряю итог: в составе нынешней предгибельной коллизии не столько недостаточность ответов и предлагаемых выходов из положения, сколько коренной изъян вопрошания. Мы не дотягиваем до «вопроса», вернее, вопросов. Упор на «опасности» (пусть даже «смертельные») вуалирует их природу: показанность развитию.

Заглянуть в первоначало. Две черты, резко  
отделяющие предка от до- вне-человеческой  
жизни: у б и й с т в о и а б с у р д.  
Превозмогание — суть человек.  
«Пара»: вызов («грех») и запрет (табу).  
Слово, речь — рубеж. Гомо уходит от  
себе подобного и возвращается к нему,  
защищенный Словом.  
Человек непонятен себе. Он боится  
этой непонятности. Он силится открыть  
эту неоткрываемую до конца  
и возобновляемую тайну.  
Культура — сны и культура —  
добывание тайны.  
Возобновляемы и убийство, и абсурд.  
Превозмогание — путь, а значит и распутица.

Я могу не знать, что было там и тогда, когда  
Гомо заговорил, испытал потребность  
запечатлеть «то, что было», etc. Но не знать  
о Сократе и Иисусе,  
о Платоне и Павле значило бы отказаться от  
знания о себе, от себя.  
Но и это знание вторично.  
Первичное же — ХIХ — тот, что взрывал  
себя, отрицал себя, переходя в ХХ:  
Лениным и Ганди, Эйнштейном и Бором,  
Сталиным и Мальро, Швейцером и Корчаком,  
Гитлером и… Трудно идти дальше.  
Дальше — для меня —  
Дубки под Симферополем, где в одночасье  
вырубили корни.  
Дальше — Саласпилс. И Шостакович.  
И Бёлль. И наши мальчики.  
Дальше самое простое и самое неизвестное.  
Что проще и неизвестнее смерти  
от людских рук?

Человек, терпящий поражение, — это, в сущности, каждый из людей, ибо что такое знание неизбежности своего конца как не признание собственного поражения?

Но мы избегаем этого знания — либо сознательно уходим от него — жизнью. В том и в другом случае — жизнью, но сколь громадно различие: избегаем или сознательно уходим, превозмогаем. В каком-то конечном счете все определяется им.

Без понятия смерти нет и особого понятия «жизни». Сначала человек открыл смерть и лишь затем (и если даже сразу, то все равно — затем) жизнь. Не в этом ли тайна первозданного искусства? Тот неведомый, кто забирался в почти недоступные уголки пещер, чтобы в полутьме наносить на неровную поверхность стен эпизоды, потрясающие своей сверхточностью и полнотой бытия, — что навлекал он на сородичей, соплеменников, со-людей: успех в охоте, удачу в схватке или просто — жизнь, жизнь как таковую?! И не в этом ли индивидуальном призвании, от которого не в силах был уклониться «однажды» ощутивший его, резче другого выявилась, дойдя до нас подспудно, не считанным временем нарождающаяся, становящаяся социальность: особенная связь, еще не против «крови», но и не только кровная, — связь, не имеющая наперед данного предела, навсегда установленного лимита (в пространстве людей)?!

Впрочем, рядом с «немым» языком существовал и звучащий и, вероятно, было бы большой натяжкой ограничивать его первофункцию потребностью в сообщении. Нет, судя по всему, нечто, заложенное в Гомо, влекло его просто к общению — без прямой нужды, «избыточному» для голого самосохранительного инстинкта, — влекло к нераздельному общению с живыми и с мертвыми, и с теми, кому еще предстояло родиться. Открывший смерть только Словом мог отстоять первенство, суверенность, нескончаемость жизни. Не потому ли Слово изначально и по сей день единственное, что без оговорок с и н о н и м ч е л о в е ч е с т в у как способности и стремлению к взаимному пониманию, для которого норма — неистребимость различий.

Погруженность в жизненный обиход сама по себе не принижает человека — это одновременно и очевидно, и спорно. И не только в том дело, что обиход обиходу рознь, но еще и в самой спорности того, что очевидно: под сомнением нормальность нормы. Обиход — норма. Но нормален ли был бы Человек, согласившийся с этим — раз и навсегда?! Потесненная норма — ведь это и есть жизнь: и не вообще, а человеческая, собственно человеческая и только человеческая. Оспаривающая смерть? Оспариваемая смертью? И в первом, и в последнем счете — её и ею. Посредине же — бытие, которое тем более индивидуально — и в хорошем, и в темном смысле,— чем длиннее цепь, чем окольнее связь, в какую и обстоятельства, и воля включают «отдельно взятого» человека. Посредине — история в единственном числе: история Мира, к крайнему пределу которой неудержимо, скачками, ступенями лестницы, идущей все вверх и вверх, стремился «исторический человек»: особая разновидность Гомо, возникшая внутри человеческого же существования — вызовом эволюции, отрицанием меры, стремлением (великой и страшной попыткой!) превозмочь — навсегда — заданный цикл. Посередине — лабиринт культуры с множеством непрямых ходов, автономных и притязающих на суверенность образований духа, в свою очередь (параллельным движением: и вторжениями в историю Мира, и изгнаниями из нее), освобождающих человека от власти того же цикла, в каждом витке которого — приближающаяся смерть: и индивидуума, и вида.

В первом счете — оспаривание смерти. А в последнем? Не жизнь ли оспаривается смертью, отбрасывающей околичности и облачения, проникающей как жесткий рентген сквозь все надстройки, возведенные историческими столетиями, обнажая скрытые изъяны, и даже не столько приметы увядания, неподдающиеся излечению недуги, сколько симптомы конца безмерности, неотделимой от Истории?!

«Смирись, гордый человек». Признай свое совокупное поражение. Эволюция подтолкнула к поражению. В качестве исключения из правила ты подтвердил правило — тем, что увидел себя на краю пропасти, в которую ты оказался способным втянуть всё живое и неживое в этом уголке Вселенной. Отступи…

Заглянем в самую глубину колодца, туда,  
где рядом, вместе  
этнос и речь, убийство и миф…  
Человек, живущий в мифе, устраняет смерть —  
все — рядом, вместе:  
кто был, кто есть, кому еще быть.  
Человек исторический ею — историей — превозмогает смерть. Меняя и меняясь, он вкладывается, одолевает себя в будущем  
и в будущих.  
История приходит к человеку, когда он смутно ощущает непрочность жизни,  
то, что она преходяща  
(вспомнить первые смерти,  
какие я пережил…)  
Особое — наше — чувство, сознание, капкан:  
постоянство приобщенности к истории,  
самовключенности в нее.

«Победа над смертью» — старт всемирной истории.  
От этого — через тотальное поражение  
и равновесие смертью — к решению  
всех вопросов заново.  
Победа над смертью сделала мертвых  
заново живыми для живущих.

Убийство и абсурд  
Человек, терпящий поражение…  
«Победа над смертью» — старт всемирной истории  
Варианты обращения с гибелью  
Саласпилс — Аушвиц  
Жертвоприношение всесожжением  
Свободные не могут быть равны  
Шанс на спасение

**ЛИКИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ГОЛГОФЫ**

Память хватко держит самые драматичные, непредугаданно «парные» из наших домашних коллизий. Бородинское поле и кронверк Петропавловской крепости, 19 февраля и Екатерининский канал, крестный ход с побоищем, учиненные Георгием Гапоном вместе с Николаем Романовым, и за все долгая расплата: монархией, февральской свободой, октябрьским равенством…

Недостача в «предпосылках» — и избыток в блужданиях. «Моменты истины» — и могилы братоубийц. Не было бы исступленно ищущего духа, откуда бы взяться оборотням его, высасывающим кровь из живых?

Труднее трудного — ухватить целое. Движение целого. В людях, конечно, ибо какая ж история, если безлюдна. Но еще два действующих «лица» не упустить бы из виду: Пространство и Время.

Пространство — российское, которое заведомо не страна, но и империей не исчерпывается. А если империей, то той — особенной, что, доставшись ХХ веку, не в силах уйти, не прихватив с собою этот век. А Время? Оно и есть время, потребное для такого ухода: когда не от нуля, но — с начала.

Сегодня это — само собою. Так оно только и должно быть. Но не проглядеть бы, как пришло: не от нуля, но — с начала. Как возникло некогда, как уходило и возвращалось. И не непременно большаком, а и проселками, тропами. Малыми человеческими добавками, которыми придвигались (мы — в предках!) к нынешнему порогу.

Четыре десятка лет назад, когда впервые поднялся на истфаковскую лестницу и огляделся в этом шумном, тесном двухэтажнике с остатками былого дворянского гнезда (лепнина, изящные кариатиды), — скажи мне кто-то: а знаешь, говорят, тут кончил дни свои Трубецкой, тот самый, что мог победить 14 декабря, — ты-то как к нему относишься? Если бы уклонился от ответа, то, скорей, от незнания. Да еще от преклонения перед «падшими». Привитое школьным Пушкиным могло ли уйти? А сейчас, когда позади две трети века, сраженные друзья и иллюзии, что скажу о князе Сергее Петровиче? Из самых близких. Но почему?

Разве не смалодушничал он, не изменил долгу лидерства, не бросил на прихоть судьбы тех, с кем прошел от Бородина до Лейпцига, и еще многих иных, кому жить и жить?

«…Я не только виновник всех бедствий оного дня и несчастной участи злополучных моих товарищей.Я не только не заслуживаю ни малейшей пощады, но уверен еще, что только увеличением заслуженного наказания должна быть облегчена участь всех несчастных жертв моей надменности, ибо я могу почти утвердительно сказать, что если б я с самого начала отказался участвовать, то никто б ничего не начал».

Никто б ничего не начал. Историк не может не оспаривать. Чересчур долог путь к событию, чересчур грандиозно оно само, чтобы зависеть от человеческой единицы. А между тем — так. Не согласись Трубецкой, вряд ли рискнул бы Рылеев, а без его лихорадочной активности, без его вербовочного азарта оказались ли бы в мятеже мужи совета — Штейнгейль и Батеньков (вход к Сперанскому!), рванулись ли бы в бой из-за переприсяги храбрецы-рубаки, подобные двадцатисемилетнему Щепину-Ростовскому? Впрочем, и по сей день исследователь, просеивая свидетельства, нет-нет да и выловит еще один, не замеченный прежде шанс на успех заговорщиков. Но вот загвоздка — успех чего?

Князь Сергей Петрович был побежден еще до поражения. Ибо был старовером вольности, равно враждебной шапке Мономаха и фригийскому колпаку. Он задержался в пути, в то время как большинство из тех, кто начинал, уже отпало. Теперь ему предстояло решать головоломку: как овладеть «чужим» событием (заварухой престолонаследия), зная, либо только догадываясь, что и продолжению не быть, если не уйдет в не свои руки. Решился совместить Сенатскую площадь с Россией, не гнушаясь обманом и уберегаясь от произвола. (Успей он уничтожить клочок бумаги, черновик реформ, пункты без заглавия, мы никогда не узнали бы этой первой отечественной заявки на исторический компромисс, заявки великой — неисполнимостью!)

Алексеевский равелин очистил замыслы от тщеты.  
Человеческая неудача, терзаемая инквизиторами и раскаянием, переросла в поражение.  
И неосвобожденная Россия стала отсчитываться от него: словом, мыслью, судьбами.  
Так повелось и уже не прекращалось.  
Д в и ж е н и е п о р а ж е н и я м и — не русская находка.  
Оно изначально в историческом человеке. В России же, раздвинувшись масштабом, укоренилось в особом человеческом типе. Обреченном на поражение и превозмогающем эту предопределенность — нравственным максимализмом, у которого нет прямого перевода в Дело и которое поэтому остается без дела…  
Испытание на п о р а ж а е м о с т ь — из тягчайших.  
От скрижали до похоронки — один шаг. И от братства одиночек к «злодеям развития» — также один, хотя и длится годами, десятилетиями, эпохами, поколениями.  
Каков же выход?  
Сменить масштаб? И даже найдя «свое» событие, вовремя расстаться с ним (своим!), уступив его «чужим» продолжателям?

Не потому ли так дорог мне князь Сергей Петрович, что был едва ли не первый из тех именитых и безвестных, у которых общее — сомнение в праве вести за собой других, еще не готовых к собственному выбору?

Не отказ, а — с о м н е н и е. Всего лишь сомнение.

И даже не то, что впереди действия, предвестием гибелей, а то, и именно то, что окуплено собственным уроком. Оплачено собственным действием.

П а д е н и е м в п о р а ж е н и и.

И падением в победе. Да — и последним также.

Высшее мужество — опознать падение в победе.

Скажешь: никогда не поздно… Но так ли? Вся новейшая история, наша и не наша — в оспоривателях. Наша прежде других. Ибо вся в опозданиях. Чем ближе, тем опоздания эти злокачественней. А затем уже и не опоздания — пустота.

Яма. Беспамятство.

И не уходит горечь: откуда забывчивость? Чем держится? Ритуалом ли торжеств? Либо привыкли гордиться — превыше всего — праведными смертями, закрывая глаза на н е п р а в е д н ы е? Или все дело в том, что нет уже этого различия? В последнем счете ушло. И не то, чтобы поменялись местами праведные с неправедными. И не то, чтобы знак равенства. Иное.

…Ядерный гриб в конце ряда, где князья и разночинцы, Рахметовы от первого до последнего, где в моей ночной яви — симферопольские Дубки и замшелая, втиснутая в землю плита на Волковом кладбище над останками Веры Ивановны Засулич, открывшей русский террор и употребившей жизнь на избывание его.

Ядерный гриб — уравнитель. Но ведь и он не джин, самочинно выпрыгнувший из бутылки. Он также — люди. Сам-один, сам-десять, а затем — сразу — миллионы, миллиарды. Без промежутков во времени. Без убежищ в пространстве.

Табу на гибели — запрет на победы.

Ни одной, ни над кем!

В нашем прошлом вижу я не профилированную магистраль, дополняемую пресловутыми зигзагами, а куда более сложную картину движения. Помните, у Герцена: к о н ц ы и н а ч а л а. Непрерывность мирового процесса достигается сменою их — во времени и в пространстве. Нет концов, нет и начал. Но с какого-то момента этот закон (а это закон истории в строгом смысле) становится трудноисполнимым.

Концы «застревают». И это не простая инерция. Тут все запутанней и хитрее. За видимостью «ускорения истории» скрывается перемена в ее коренных свойствах. Меняются все, но более всего те, кто включается позже, кто силится догнать ушедших вперед. Происходит своего рода переворачивание классического прецедента: его конечный счет становится инструментом начала, как будто бы не нуждающегося в продолжении. Пропуск этапов, фаз, ступеней кажется преимуществом, превосходством… Здесь и л о в у ш к а. За это также надо платить, и цена не только растет: цена обретает ранг смысла. Она исподволь замещает и цель, и средства (средства, исторически приуроченные к цели). Новоевропейская поступательность вступает здесь в брак с циклизмом, унаследованным от ранних цивилизаций. И концы, принимая крайние, разрушительные формы, вместе с тем отвердевают, окостеневают в способах, приемах, нравах.

Несостоявшиеся развилки режиссируют гибелями…

Мы еще не вчитались, не вдумались как следует в судьбу наших предальтернативных лет. Что говорят нам такие даты, как 1923-й, 1928-й или 1934-й — до 1 декабря и даже после?

У каждой свой «сюжет», свой список действующих лиц, свои вычерки из него. В каждом случае мы можем прощупать наметку выбора, близость его и в каждом — сужение поля выбора. Нарастающее сужение поля выбора. Мы останавливаемся в недоумении: отчего потерпел неудачу последний ленинский замысел перестановок лиц у власти, неотрывный в его сознании от изменений политического строя в самой болевой его «точке» межнациональных отношений? Мы пытаемся уразуметь причины банкротства поборников нэпа — поражения большинства (среди лидеров), нанесенного им режиссируемым большинством функционеров. По смутным фрагментам из документов, воспоминаний, лагерных легенд мы тщимся реконструировать наиболее загадочную из наших развилок 1934-го, плодом которой явились Конституция 1936 года и террор 1937-го…

Исступления ищущего духа  
Движение поражениями  
Несостоявшиеся развилки режиссируют гибелями  
Ротации террора  
Тайны «большого процесса»  
Диалог опытов в переоткрытии жизни  
Тоталитаризм — сразу? Или это процесс…

[3. СОРОКОВОЙ РУБЕЖНЫЙ](http://gefter.ru/archive/915/13)

А в это же время человек другого поколения, другой профессии, но, полагаю, не другого склада нравственного ума, еще не известный миру Андрей Сахаров открыл самый короткий путь к созданию оружия, которое выравняло мировые шансы — «красных» с «не-красными». «Термоядерная реакция, этот таинственный источник энергии звезд и Солнца в их числе, источник жизни на Земле и возможная причина ее гибели, — уже была в моей власти, происходила на моем письменном столе!» Вспоминая, он как бы снова проходит дорогой от стола к «объекту», от формулы к взрыву. И замечает: «Мы видели себя в центре огромного дела, на которое направлены колоссальные средства, и видели, что это достается людям, стране очень дорогой ценой… В важности, в абсолютной жизненной необходимости нашего дела мы не могли сомневаться. И ничего отвлекающего — все где-то далеко, за двумя рядами колючей проволоки, вне нашего мира».

Они ведь близки друг к другу, тот Ясперс и тогдашний Сахаров. Близки заблуждениями и близки истинностью побудительных мотивов, я бы рискнул сказать — з а б л у ж д е н и я м и и с т и н ы. Ибо нет ее без блужданий, в которых она ищет и находит себя: ЛЮДЬМИ — В ЛЮДЯХ! Разве равновесие страха вне ее маршрута? Сомнения обращали Ясперса к его опыту недавно пережитого и к урокам тысячелетий. Мыслитель, который нашел разгадку (и утешение!) в особенном «осевом времени» (Axenzeit), связующем дух несхожих цивилизаций во всплеске вселенских подъемов, страстном и хрупком, — жаждал теперь вернуть в это русло современников, вернуть критикой, нелицеприятной к политике и к политикам. В 1966 году он выпустил нашумевшую книгу «Куда влечет Федеративную республику» («Wohin treibt die Bundesrepublik») — призыв защитить правовое общество от опасностей, гнездящихся внутри него самого, отстоять его посредством легальной революции. Слова, которыми завершается текст, заслуживают быть приведенными и сегодня: «В политической истории не господствует разумное начало… Весьма возможно, что все простое и последовательное правильно с фактической и логической точки зрения. Но до тех пор, пока приходится иметь дело с фанатизмом национального или идеологического толка, разумную политику можно проводить лишь в том случае, если принимаются во внимание и эти противоречащие разуму элементы». Что же — по Ясперсу — отсюда следует? «Возможно, все рухнет… Мыслящий должен принимать во внимание такую возможность, и тогда он поймет, ч т о такое человек и ч е м он может быть». Итак, не бомба сама по себе, а та искра пробуждения и воспоминания, которую «антиразум» высекает в человеке, — путь к его спасению!

Сахарова же сомнения и тревоги, настаивавшие на переосмыслении бытия и утверждении — заново — ценности каждой жизни, охватили в тот самый год, когда воплотилась в металл и огонь его триумфальная «третья идея». Экстаз испытания в ряд с трагизмом: погибло несколько человек. «Нами — мною во всяком случае — владела тогда уже целая гамма противоречивых чувств и, пожалуй, главным из них был страх, что высвобожденная сила может выйти из-под контроля… Сообщения о несчастных случаях, особенно о гибели девочки и солдата, усиливали это трагическое ощущение. Конкретно я не чувствовал себя виновным в этих страстях, но и избавиться полностью от сопричастности к ним не мог». Пройдет еще тринадцать лет и сопричастность прорвет позолоченную колючую проволоку и выскажет себя беспрецедентным взглядом на близость человека к человеку, на Мир вновь породненных людей.

Ныне строки, что выше, читаются уже как марсианская хроника. Не сегодня, так завтра, не позже, две суперядерные державы споловинят арсеналы «гарантированного уничтожения». Вот и «холодная война» перекочевала в арьергард, исчезли навсегда иные царства без монархов, рухнула в одночасье берлинская стена, поставив точку на незаконченном 1945-м. Ибо таково значение этой акции не только для Германии, заново и мирным способом обретшей единство, но, полагаю, в не меньшей мере — для советской Евразии, переживающей сейчас тяжкий кризис своих исторических оснований. При всем несходстве в переменах и там, и здесь речь идет, по сути, о месте и роли в Мире, которого еще нет. В Мире Ясперса и Сахарова, архитектоника которого в огромной степени зависит от того, удастся ли людям и их сообществам вписать в нее исконные и вовсе свежие проблемы межчеловеческих ПРИТЯЖЕНИЙ и не отменяемых до конца ОТТАЛКИВАНИЙ.

Потому-то рассвет того давнего воскресенья видится теперь Началом. Да он и был таким, если (не минуя внешнего обвода событий, но и не задерживаясь там) попытаться достигнуть донного слоя с его прихотливым смешением повседневности и духа, миллионов единиц людей — тревожно знаменитых и безвестных за пределами своей родни, притом, что именно последние в конечном счете и перевесили тогда чашу весов. Сначала в одну сторону, затем в другую.

Именно так. От этого не уйти: сначала в одну сторону и лишь затем — в другую.

И с той, и с другой стороны — человек, приносящий в ж е р т в у с м е р т и ж и з н ь. Побеждающий жизнью смерть. Вернее: два человека в одном. Несовместимо-близкие там, где они — ДРУГ ПРОТИВ ДРУГА.

Кровоточащая память — нападение. Его вероломство. Его внезапность. Знак равенства? Хочется сказать: бесспорно. Однако остановимся и разберемся. Не обманывают ли слова?

На одном «диалекте» — военная хитрость и оперативное искусство, на другом — внезапность. На одном — постоянство изничтожительной цели, перемогающее «зигзаг» дружбы, на другом — вероломство, попрание обязательств без повода и причины. На одном — «блицкриг», на другом — отступление во имя «контрнаступления», запланированного еще стратегической мудростью предков. На одном — высшая раса, на другом — Отечество. Нет, оставаясь в коротком промежутке времени, мы не выйдем из этой лексической неразберихи. Надо раздвинуть рамки и отступить назад. К 1939-му? Да. Но неясность и тут. Чем был «договор о ненападении» — роковым просчетом Гитлера, приведшим Германию менее чем через два года к войне на два фронта или как раз залогом немецких побед и, — сохрани фюрер союз со Сталиным, так ли легко бы (и вообще удалось бы?) европейской демократии вернуть потерянное и возродить себя?.. А для Сталина этот договор чем явился? Открытым ли отступничеством от революции, от трех слитых силуэтов, что не уходили со знамен и прочей атрибутики, либо, напротив — неизбежностью, продиктованной не только здравым расчетом (отодвинуть войну от своих границ), но и хорошо продуманным и лишь дурно использованным звеном в подготовке собственного похода на нацистский рейх, сокрушительного выхода на Запад? А держась этого последнего замысла, как не предусмотреть было, что ему, Сталину, и тут не остаться в одиночестве, что им преданные демократии незамедлительно примкнут, ибо какие могут быть счеты, когда того и гляди, коричневая краска зальет весь свет (так оно ведь и получилось, сошлись вчерашние недруги…)?!

Впрочем, почему ЛИБО? Так ли уж далеки друг от друга отступничество, о котором выше, и трезвый державный расчет? Чтоб осуществился ОН, разве не следовало покончить с РЕВОЛЮЦИЕЙ — не на словах, а на деле и внутри, и вовне? Разве не к этому же, и опять-таки, на деле, в перспективе, клонил левый антинацистский альянс, не к тому ли — уроки Испании, да и о каком, собственно, «неделимом Мире», о какой «коллективной безопасности» могла б идти речь, если продолжать с искренней верой твердить — «кто был ничем, тот станет всем»?

В сентябре 1938-го, накануне Мюнхена, Леон Блюм, лидер французских социалистов, впрямую спросил Литвинова: выступит ли Россия на стороне Франции и Англии, если те, следуя своим обязательствам, окажутся в войне с Германией? «Если я останусь наркомом иностранных дел, — да; но останусь ли я, это другой вопрос». Литвинов не остался. Можно усомниться, что, будучи не снятым, он сумел бы воспрепятствовать сближению Сталина с Гитлером (в немыслимо лучшем случае — уход в отставку, в не исключенном худшем — очередной процесс…) Литвиновский курс не был традиционным. Он, вправе мы сказать, таил в себе зародыши а л ь т е р н а т и в ы — выхода за пределы взаимоисключенных «миров». Именно поэтому он и был неприемлем для нашедшего себя Сталина. Сталинский вычерк революции, по самой сути своей, должен был быть однозначным. Мало того: ИСТРЕБИТЕЛЬНЫМ ПО ОТНОШЕНИЮ К ЛЮБОЙ АЛЬТЕРНАТИВЕ.

40-й пересек жизнь  
Долгий год слома  
40-й год: эпизод в контексте развилки

[4. КОСИ, КОСА](http://gefter.ru/archive/915/17)

Одаренные школьники, переходя в университет, чувствовали себя «на коне» — даже в том случае, если до того не были баловнями судьбы (трое из названных выше испытали либо неустройства семейной жизни, либо удары по ней извне). Но не парадокс, а черта времени вместе с законом возраста: их тянуло к успеху. А успехи на умственном поприще, весьма заметные и заслуженные, рождали уверенность в призвании и естественное тяготение к себе подобным, очерчивая некий круг не то чтобы избранных, специально и напоказ обособленных, но и не без примет этого. Так было или только мнилось тем, кто находился вне этого круга и кому пребывающие в нем, по крайней мере некоторые, казались зазнайками или снобами?

Но вот оборвалась прежняя жизнь, а новая предъявила и новый счет. На войне им предстояло либо «скиснуть» — стать хуже — себялюбивей, самосохранней, либо распрямиться, чему нет точного, единого для всех названия. Без малейшего сомнения: они стали лучше и оттого — в последнем счете — самими собой.

Вот отклик нашего товарища, который был на десяток лет старше большинства, притом слова эти им сказаны не далеким задним числом. они из письма, помеченного началом 1942 года, когда он, переживший катастрофу, после плена и бегства из него, после мужественного прорыва к своим впервые написал о себе своей однокурснице, с которой был вполне откровенен.

«Вспоминая о том составе [дивизиона, где служили истфаковцы, а “ведущим ядром был наш курс”. — М.Г.], я все более и более убеждаюсь, что он был идеальным». И дальше: «Не могу не написать о них. Саша Осповат стал неузнаваемым. Во время учебы я к нему относился довольно холодно (деликатное выражение). Здесь же наоборот. Все трудности походной жизни он переносил прекрасно. Стремился закалять себя. Он был своего рода нигилист, так, например, удивлялся, почему наших посылают сейчас на работу (в школы и т.д.), тогда как их можно использовать на фронте или для фронта. Мы ему так и не смогли доказать, что нельзя допустить, чтобы росло неграмотное поколение (я это испытал на себе, учась во время гражданской войны). Наводчик он был боевой. Работал очень быстро».

Для Саши Осповата понятие само было непререкаемо важным, означало четкость цели, контроль над собой, постоянный умственный труд и необходимое ограничение, уважение к знающим, но не до утраты своей независимости в суждениях, а напротив, во имя ее. Трезвость? Да. Но не за счет духа.

Такие, как он, само собой, не Обломовы. Но и не Штольцы. Уже не Рахметовы, но еще не… Открытый вопрос. Быть ли позитиву столь же определенным, как это отрицание, производимое к тому же задним числом?

Одно несомненно. Гибель их лишила нашу жизнь не только талантливых одиночек, но целой генерации, в недрах которой копилось, зрело еще неведомое им самим сопротивление давящей одинаковости идеала. Война — не во имя этого сопротивления, но она и это. Не потому ли столь редка в письмах наших друзей патетика патриотизма, а он сам, скорее, укором себе, для которого заведомо нет основания?

«А мальчик уже считал себя почти героем, — это Муся Гинзбург в собственный адрес. — Утешаюсь, что когда-нибудь все-таки буду на фронте, но пока неприятно — сидит в тылу [так именует он ополчение! — М.Г.] здоровый парень, а уже где-то идут бои, умирают люди, может быть, и мой Юрка [Бауэр] уже там».

«Родная моя, не сердись, что я нервничаю, но ты поймешь меня, что станешь фаталистом, если просидишь без всякого дела […] в то время как моя любимая ждет меня за тридевять земель, в то время как в 70 км от тебя льется кровь. На людях я не нервничаю, я официально-спокоен. **И не сижу сложа руки**» [Игорь Савков — жене; последние слова подчеркнул сам. — М.Г.].

Да что отдельные строчки, выдержки, отрывки. Непохожесть манер и чувствований не только сближает их, но и оттеняет родовые черты. Кто менее схож был, чем Муся и Игорь, — и в письмах, и в жизни? Первый весь как бы нараспашку. Всегда немножко голодный, всегда безнадежно влюбленный, всегда готовый читать свои и «чужие» любимые стихи — ну чем не классический тип поэта, может, не всякий раз оригинального рифмами, но выговаривающего ими самого себя, свою «жизнь без проповедей», как сказал некогда Илья Эренбург о Франсуа Вийоне — родоначальнике всех неунывающих несмотря на не проходящую грусть. Муся раньше других однокурсников и однокурсниц одинаковой с ним судьбы ощутил удары судьбы, отнявшие у него отца и старшего брата. Однако он не ответил на жестокость ожесточением, на вероломство — притворством и затаенной ненавистью. Детство и семья, сверстники и Слово заложили в его душу такой запас доброты и веры, жажды дружеского общения и любви, каких хватило бы надолго…

Навсегда? Не знаем. Не в силах угадать. Любой ответ отдалил бы его — такого, каким он ушел, еще не определившись и не спеша определиться раз навсегда. Он ушел стойким и беззаботным, снисходительным к друзьям и упорным в своих высших привязанностях и принципах. А перед глазами — чудом сохранившаяся тетрадка его повзрослевших стихов (1939–1940) и письма из ополчения, какие назвать стихами в прозе будет вовсе не натяжкой.

…Да, они были как будто совсем непохожи — Игорь и Муся, Саша и Ян, члены одной семьи. Кого потеряли в них мы — и все? Ученых? Поэта? Нежных и умных отцов? Мужчин, способных пронести дружбу через всю жизнь? Людей!

Двое погибли почти одновременно, в октябре 41-го, после двухдневного жестокого боя близ Ельни, во время отхода ополченцев, брошенных в самую горловину немецкого танкового прорыва. (Об Игоре — рассказ особый: судьба его разъяснилась лишь в начале 90-х). Четвертый, Ян Пинус, вырвался из кольца, вернулся в строй, воевал до августа 1944-го, участвовал в освобождении Польши. В деревне Долбня Радомского воеводства его имя на братской могиле. Он писал всем однокурсникам, чей адрес имел, — писал, пытаясь выяснить участь каждого, касалось ли это обстоятельств гибели либо подробностей жизни, которая продолжалась и на фронте, и в тылу. Он был простосердечен и взыскателен; от письма к письму становился своего рода летописцем курса, и все свойства его взвешенного, аналитического, ответственного ума имели теперь точкой приложения сверстников, входящих в историю. Автор отличной работы о герценовских «Голосах из России», вспоминал ли он в своих фронтовых занятиях слова Искандера, предпосланные третьей книжке этого издания: «Мы очень малы, но нас трудно застращать категорией количества и величины […] Вселенная состоит из точек, из клеточек, а не из глыб, не из пустых пространств»?!

Нам, выжившим и живущим, он — своей настойчивостью, своей требовательностью помнить павших, измеряя всякий текущий поступок их судьбой, — сберег их и себя живыми.

Достоинство и истина  
Противостояние  
— 22 июня  
— миры Ясперса и Сахарова

Нападение  
— Сталин и Гитлер: соавторство  
— стихийная десталинизация  
— противочеловеческий лик победы

Человек на войне: Твардовский и Теркин  
— война как Дом  
— эпос ли «Теркин»?  
— «Мне конец — войне конец»

Живые-мертвые  
— память воскрешает  
— единственные «в своем роде»  
— мотивы заклания себя  
— главное знают лишь мертвые

[5. ПРАКТИКУЮЩАЯ ХИМЕРА](http://gefter.ru/archive/915/19)

**«Холодная»: истоки и надлом**

«Холодная война» — сжатая до предела полоса земного присутствия человека, когда он вплотную ощутил: высшая точка добытого им могущества реализуема во в с е о б щ е м с а м о у б и й с т в е. И нет у него иного выхода, кроме как удержать перспективу в стадии перманентно сохраняемой возможности. На языке военной физики и геополитики это вылилось в формулу паритета в «гарантированном взаимном уничтожении»…

Не следует думать, что та сакральная формула, рожденная сильными умами, преследовала что-либо сверх того, что в ней содержится. Но с момента, когда она выросла из противостояния, возникшего много раньше, она как бы отделилась от своего происхождения. Ни прошлого, ни будущего — такова ее необъявленная программа. Могло ли это (даже если отвлечься от неисключенности испепеляющего действия) не затронуть самые основания человека?

Хорошо помню жуткое чувство, которое я испытал на занятиях по гражданской обороне, когда весьма искушенный и достаточно циничный полковник пояснил: люди из зоны термоядерного поражения (за исключением, само собой, тех, кто оказался в эпицентре) не могут быть использованы для очистительных и каких-либо аварийных работ ввиду шока, который их поголовно постигнет. Я подумал тогда: «шок» этот может вступить в человека и до, и без термоядерной схватки — из-за сужения поля жизни до удержания факта существования как такового. Продлись равновесие «холодной войны» еще и еще, не угас ли бы вовсе стимул к развитию Гомо? «Голый остров» — не единственный прообраз всеобщего конца. Спустя десятилетия, вероятно, мне следовало бы признать, что я ошибался в отпущении сроков. Мой заокеанский оппонент может считать, что он был прав, когда в семидесятых оспаривал наш домашний диссидентский апокалипсис и противопоставлял ему твердое убеждение, что всегда налицо «та или иная возможность». Тем не менее я готов возобновить старый спор не для того, чтобы повторить, но, скорее, продлить свой тезис: возможности есть не всегда. Они вообще вторичны по сравнению с НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ — самым глубинным из источников вочеловечивания человека.

Да, сегодня мы с облегчением сообщаем друг другу, что отпрянули от края бездны. Далеко ли?

Первое, чего нельзя не заметить: «холодная война» отступает в формах, соответственных ей самой.

Могло ли быть иначе? Ведь в истоке непосредственная, «вещная» Бомба — и она же как модель ответа на экстремальную ситуацию воссозданием еще более экстремальной, исходящей отныне от самого факта великого открытия, жаждущего быть продолженным (дальнейшими открытиями — без конца и края!) Так возникла предсказанная и вместе с тем непредусмотренная власть Числа и Опытного знания, у которых, однако, нет ни собственной идеологии, ни отдельного входа в историю. Поэтому и в распорядителях «холодной войны» оставались прежние, историей сформированные силы, которые между тем уже не могли действовать исторически, т.е. стремиться к достижению того или иного предложенного результата, пусть даже ложно, притворно и лживо осмысляемого, но все-таки в этом унаследованном русле. Иррациональность рвалась к овладению всей ареной действия и добивалась не просто впечатляющего, но и гипнотического успеха, парализующего — до определенного рубежа — сопротивления ему.

Вчера еще нас поражали известия о «раскрытых» (попросту опубликованных задним числом) замыслах Пентагона, которыми предусматривались бомбардировки советских городов и центров власти. А чему удивляться? Чем иным заниматься Генштабу в державе, владеющей этим оружием? К чему призвана была готовиться армия и что должны были обеспечивать дипломатия, разведка, службы, предназначенные для психологической подготовки «своей» стороны и подавления воли противника, — даже если отсутствуют захватнические планы… Вот где нервный узел, пульсирующий безумием, — б е з р а з л и ч и е с р е д с т в к н а м е р е н и я м. Уверься люди, предназначенные убивать, дабы не быть убитыми, что в мыслях и расчетах всего лишь паритет и не дальше, что вся бешеная гонка термоядерных вооружений лишь прелюдия к взаимному согласованию очередных «потолков», что все это — кукольная комедия, хотя и разоряющая народы, поганящая Землю, — не свихнулись бы умом, совершив нечто, не запрограммированное никем?

Спасла, как ни чудовищно, инерция привычных стимулов и ответных реакций. Причинно-следственная классика оберегала всесветный Дурдом. В семантической дыре мерещился защитный клапан. А бункерный вирус наградил миллионы равнодушием («все можно снести, лишь бы не война»).

Откуда же могло прийти прозрение, как не от «побочной» внезапности и не от малого выпадения из господствующей «нормы», не от шевеления одиночной души, не от ереси и юродства доверия, питающегося добродетелями прошлого (в отвержении его?)?

Исследователю «холодной войны» не просто определить временную точку, где она надломилась. Затрудняют не только пробелы в источниках, еще недоступные архивные тайны, мемуарная односторонность и многое другое. Мысль стопорят также и укоренившиеся шаблоны.

Говорят: оружие, чей акт рождения совпал с концом второй мировой войны, уберегло всех нас от третьей (и последней) из мировых. Разумеется, в утверждении есть доза достоверности, но при этом мы незаметно меряем непривычное «общим аршином». Между тем отличие гипотетической «третьей» от первых двух громадно и заключается оно не только в предполагаемом числе жертв и непоправимости повреждений среды обитания человека. Различие также и даже прежде всего в мотивах поведения людей. Как ни велики случайности, спровоцировавшие схватку 1914 года, в корнях ее антагонизмы, лишенные персональной исключительности. Группировки держав сложились раньше. Наиболее весомые из антимилитаристских сил по существу капитулировали перед неотвратимым еще до первого выстрела. Пролог, таким образом, предопределил развязку: в любом случае, при любом победителе, исходом были территориальная перекройка, сдвинутые границы, отнятые земли и новые «сферы влияния», а национальный принцип служил бы лишь прикрытием и инструментом того, что с откровенностью в действиях и словах определило себя как империализм.

У «второй мировой» заметно родство с «первой». Но с не меньшим правом мы говорим и о разительном несовпадении. Вторая, — я убежден, — была идеологичнее и даже идеалистичнее: в хорошем смысле и в дурном, отвратительно-смердящем, ибо и такой вид не чужд идеальному, являясь не только оборотнем его, но и реализацией его же внутренней тяги к оборотничеству, к соблазнам абсолютного переворачивания… Lebensraum нацизма имел географические очертания, облекаясь в детальные планы освоения его, но по сути своей он был б е з г р а н и ч е н, поскольку самое освоение мыслилось не иначе, как обезлюживание, как высшее право на него, проистекающее из сведения людей к единственному отрицающему основанию, к реализуемому античеловечеству. И так же точно бреду «исконно-чистой крови», чтобы обратиться в заново выстраиваемый Мир господства, которое никто и никогда не сможет оспорить, требовалась достоверная кровь потомков тех, кто уберег — историей — вселенскую родословную.

Сказавши, что в этом начисто отсутствовал здравый смысл, что вся мифология, питавшая нацистский рейх, обрекала его на тотальное поражение, мы отвлечемся от страшных фактов, от тайны поистине грандиозных успехов Гитлера. То, что они были производными от размычки противостоящих сил, от запоздалого соединения их, и что каждый виток этого запоздания в геометрической прогрессии увеличивал шансы блицкрига, вполне доказуемо, но не разъясняет до конца близость катастрофы, превосходящую военное поражение Европы. Что-то сокрушилось в основаниях цивилизации, считавшейся высшей в Мире и притязавшей на Мир. Могла ли выжить она, не воскреснув? Могла ли воскреснуть, не дойдя до края самопотери?

Гитлер явился душеприказчиком этой самопотери. Он обобрал ее, не только умело утилизируя разобщенность потенциальных противников, но и опережая их — не в сроках даже, а во Времени. Подтвердил Шекспирово: чудовищно-банальный злодей в роли протагониста. Впрочем, не в одиночку подтвердил. В паре со Сталиным.

«Холодная война»: истоки и надлом  
— провокация  
— смерть, втиснутая в повседневность  
— исключительность третьей мировой  
— «холодная» — по щелям «горячих точек»

Мир, уходящий от «холодной войны»  
— «вернулись в 45-й»  
— мигранты: интеллектуалы и скитальцы  
— абсурд, обесценивающий смерть и жизнь  
— доверие как заповедь  
— работа с несовпадениями  
— животворящее участие мертвых

[6. ОБРАЗ КОНЦА СУТЬ НАЧАЛО](http://gefter.ru/archive/915/22)  
(из «мыслей врозь»)

**(из «мыслей врозь»)**

От декабря 1994 — и дальше…  
На грани Чеченской войны.

Что-то произошло — непредвиденное и неслыханное. Нас захватили врасплох. Но чем, собственно, взяли? И почему мы оказались столь неподготовленными, позорно бессильными, а когда опомнились, запротестовали, зашумели и, надо признать, довольно громко, что вовсе не значит — ясно и последовательно, то ход событий изменить уже не смогли.

Старый пушкинский сюжет о разбитом корыте.

Фабулы, правда, не совпадающие, но смысловая связка очевидна. И историческая, и вполне современная, ожившая. Приучены (веками!) за однажды сделанное добро ждать пожизненного вознаграждения либо такой же премии за тихое «законопослушное» поведение, за безликую повторяемость жизненного обихода — так знайте: впереди — позже или раньше — расплата. Старуха, она, конечно, злыдня и жлобиха, но без старика быть ли развязке, притом вразумляющей не непосредственных даже участников мистерии вымогательства и низменного выпрашивания милостей, а следующих за ними — и уже иных.

Пушкинские персонажи, по всему видно, бездетны. Родовая связь оборвана. Вместо нее — расселина в земной тверди, в которой заводятся, выходя отсюда на свой промысел, вурдалаки и мелкие бесы.

Их-то чем урезонишь?

А Васька слушает, да ест человечину…

То, что случилось, еще далеко не закончилось. Не исключено, что спаленный город с закоченевшими трупами на улицах лишь начало, почин, жаждущий продолжения, — что же это такое?

Как назвать, чтобы не солгать первым же звуком и хоть сколько-нибудь приблизиться к пониманию?

Ни одна из «дефиниций» не работает.

Отчего же? За ненадобностью в наименованиях, за самоочевидностью происходящего?

Нет, тут что-то не так. Желчью не заменишь мысль. Криком — ответное действие, которое соответствовало бы обстоятельствам и соединило бы в заслон новому разбою и новой крови с переменой, какая несла бы в себе — пусть только зародыш, лишь первую пробу опережающего сопротивления.

В нем — главная недостача. В нем — действительное искупление содеянного. Только им мы еще можем соединиться без инсценировок притворного «демократического» единства.

Дико сказать, но горцам легче сделать этот решающий шаг.

На одном из промелькнувших на телеэкране грозненских ручных плакатиков особенно запомнилось: «Чечня — субъект Аллаха». В смысле — не Федерации. Но и в еще более высоком смысле, не требующем уточнения — чего именно суверен, поскольку достаточно самого слова «субъект». Он же — суверен. Он же — хозяин своей судьбы, однако знающий, что есть зарок у этого самохозяйничанья: разрешающий, поощряющий, но до той черты, где начинается табу…

Страшно то, что нет ничего страшного.

Только что информационная служба правительства уведомила всех, что сегодня в 15-00 российские солдаты водрузили российский флаг над бывшим президентским дворцом в бывшей столице Чечни. Бывшей — поелику руины.

Кладбище и межевой знак, разделяющий тысячелетия и века — ХХ от ХХI, Второе от Третьего.

Я задаю детский вопрос, оттого детский, что прямой и еще потому, что стыдно не захотеть или не суметь ответить ребенку. Я себя спрашиваю: радоваться ли этому флагу в окружении трупов или признать вслух, что весть эта пришла ко мне в черной каемке?

Либо не облегчение, но и не горе из привычных, что накатами, обвалами через всю жизнь, а нечто иное теснит грудь и чувствуешь — ее не высвободить словами, вторящими уже сказанное и пересказанное в последние недели?!

Конец войне раньше называли миром. Похоже, сегодня это уже не-правда, достигающая размеров гигантской, невыносимой лжи. Я имею в виду даже не прогнозы относительно свойств и сроков войны в Чечне. Сулят, что перейдет она в партизанскую, в фазу мщения и, соответственно, не знающей пощады расправы с мстителями. А если не перейдет, оборвется ввиду очевидного неравенства сил, если инстинкт жизни возьмет верх над горской вендеттой, а проученные федеральные администраторы станут действовать гибче, ловчее… Ежели в «лучшую сторону» повернется все это дело, то вздохнуть ли облегченно, — раз мир, то есть нет более мирных и немирных трупов?..

Ведь мир настанет, мир! Ведь ты же пацифист, родня правозащитникам, современник Объединенных наций, разве не так?

Не знаю. И не потому только, что пресыщен обманом и вероломством одних и стенаниями задним числом других, хлесткими изобличениями и бессильными проклятиями. Есть еще препоны посильнее этих.

Может, домашнему затворнику все безнадегой кажется потому как раз, что нет силы действовать. А может, помехою год рождения 1918-й, и, стало быть, причастность к эпохе, которая кончилась, не завершившись. Или, вернее, не кончилась, хотя исчерпалась давно.

И мои игрою случая еще живые сверстники не первые из всесветных поколений, какие утрачивали знание того, что человеку во вред и что на пользу.

… Другой флаг на памяти. Священный — над Рейхстагом. Сколько жизней стоил он за считанные часы до финала. И могло ли тогда прийти в голову нам, уже отвоевавшим, охранившим жизнь, что флаг тот скрывает в себе тайный сигнал, одно из сообщений людям о вступлении их в эру, когда будет только война, — холодная или горячая — и смерть из бытия человеческого станет вытесняться убийством, не ведающим никаких во имя и ради?

Корни бессилия нашего здесь. И позорно запаздываем мы именно потому, что убийство не покоряется Слову, что Слово оказывается не только недостаточно внятным, неспособным убедить. Оно — заколдовано не-нужностью. Убийству оно избыточно, обременительно и потому изгоняется, изничтожается — сначала незаметно, а затем все явнее и наглее.

…Не потому ли я раздираем сомнением, что, кажется, навсегда утратил отличие между тем, что человеку во вред и что на пользу.

Отстаивать свободу от танка — во вред? Обменять независимость на жизнь — благо? Затрудняюсь в ответе.

Повернется ли язык молвить: «на пользу» — распятый на кресте, тот, столь странно (нынче бы сказали немотивированно) невзлюбивший законопослушных, добродетельных соплеменников, праведных фарисеев? А его дальних потомков, в том числе и не признававших родства, но столь же неистовых в сшибке с современными им и также на свой лад добродетельными фарисеями, — их, продолжателей-ниспровергателей, куда? — чохом и без лишних слов — «во вред»?

И еще один автобиографический сюжет. Он касается отношений моих с неистовым безумцем, без коего не было бы и еретического христианства. Я о человеке, которого звали Савлом, прежде чем он стал Павлом. И о его живущей во мне идее, пришедшей сравнительно поздно, в трудный переход от годов Семидесятых к Восьмидесятым. О его, Павла, «предметном» видении завещанного Иисусом Судного дня.

«Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе; ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся».

Все изменятся, поелику и мертвые — ВСЕ — возвратятся в жизнь! Без этой неисполнимой неутолимости пуст самый образ Конца, который суть Начало…

Я был потрясен пересечением того таинственного провидческого текста с отнюдь не спиритуалистическими загадками, которые я продолжал неустанно задавать себе, зная, что не дождусь разгадки ни в одиночестве, ни на людях. Затравленный преследованиями моих молодых друзей и непонятностью того, что еще предстоит нам всем, втянутым в «муравьиную злую возню маленькой нашей планеты», я нашел в этой Павловой идее (как и в более поздних отзвуках ее, представленных родными мне именами) — в ней и в них обнаружил проблеск надежды, поощряющей поступок.

Впрямь — если одиссея человека не что иное, как переделка безвремений в междувременья, то свершиться ли такой переделке сейчас, здесь, у нас и в нас, пока мы не ощутим себя обладателями всех без исключения человеческих опытов, включая и не в последнем, в первом счете — опыт ПОРАЖЕНИЙ, СРЫВОВ, ПАДЕНИЙ, ВЫКАРАБКИВАНИЙ ИЗ БЕЗДНЫ?! Без живых мертвых живущие обречены. Спасение — во встрече их. С некоторой дозой велеречивости разрешу себе сказать: с тех пор это — мое кредо.

Но и ему пришлось выдержать испытание на разрыв. В проверщиках снова и вновь — люди и события. Неодинаковые масштабом, несовпадением размера бедствий с болью и разочарованием. Сердце с Нагорным Карабахом, с армянином, отстаивающим самостоянье, а ум? Ум говорит странное, точно в бреду: люди, подождите, пройдут считанные годы и мы солидарно придем к ДОМИНАНТЕ РАВНОРАЗНОСТИ. К Миру, где все составляющие — страны ли, конгломераты их, меньшинства ли внутри большинств — превратятся в МИРЫ, полноценно соотносящие себя с человеческим универсумом.

…Если внушенная сомнением вера эта — вклад без расчета на проценты, то я вношу его.

-----------------------------------------------------------------

\*Оригинал: [Архив Гефтера.](http://gefter.ru/archive/915/2)